

Николай Семенович Лесков

**Герои отечественной войны  
по гр. Л. Н. Толстому**

# Содержание

I. РАССУЖДАЮЩИЙ СМЕРТНЫЙ . . . . .	0004
II. КНЯЗЬ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ . . . . .	0018
III. ГРАФ РАСТОПЧИН . . . . .	0030
IV. НАПОЛЕОН . . . . .	0039
V. МОСКВИЧИ И ОПЯТЬ ВОЖДЬ ИХ . . . . .	0045
VI. МОСКОВСКИЕ ЗАЖИГАТЕЛИ . . . . .	0072
VII. ВЫСКОЧКИ И ХОРОНЯКИ . . . . .	0077
VIII. БОГАТЫРЬ НЕРАССУЖДАЮЩИЙ . . . . .	0084
IX. ВРАЖЬЯ СИЛА . . . . .	0086
X. ВРЕДИТЕЛИ И ИНТРИГАНЫ . . . . .	0089
XI. ДВА АНЕКДОТА О ЕРМОЛОВЕ И РАСТОПЧИНЕ . . . . .	0102
XII. О НЕКОТОРЫХ КРИТИКАХ, НАПИСАННЫХ ПО ПОВОДУ «ВОЙНЫ И МИРА» . . . . .	0112

**Николай Семенович Лесков**  
**ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ**  
**ВОЙНЫ ПО ГР. Л. Н.**  
**ТОЛСТОМУ**  
**"ВОЙНА И МИР". СОЧ. ГР. Л.**  
**Н. ТОЛСТОГО, Т. V. 1869 Г**

# I. РАССУЖДАЮЩИЙ СМЕРТНЫЙ

Пятый том «Войны и мира» только что на днях вышел и до сих пор прочитан, вероятно, весьма немногими. Долгожданный, том этот, против всеобщих ожиданий, не заканчивает собою художественного и интересного сочинения гр. Толстого. Романическое движение во всех трех частях этого последнего тома относительно очень невелико, но мы в своей газетной статье не можем в подробностях следить и за этим. Признавая все значение, какое имеет новое сочинение графа Льва Николаевича для литературы, мы не можем посвятить ему такого критического разбора, какого прекрасное сочинение это заслуживает. Это дело месячных журналов, имеющих все удобства и все обязательства заняться подробным разбором всех сторон такого крупного литературного явления, как «Война и мир» Мы желаем дать только отчет об этой книге и познакомить своих читателей с интереснейшими деталями исторических дней

двенадцатого года. С такою задачею мы начинаем нашу статью, которую и просим отнюдь не считать попыткою написать критику.

Романические передвижения в пятом томе заключаются в следующем: Ростовы уезжают из Москвы, Наташа встречается с раненым князем Андреем Болконским; Николай Ростов уезжает во время войны ремонтером в Воронеж и встречается там с княжною Мариею; затем кн. Андрей умирает на руках Наташи и кн. Марии; Héléne Безухова собирается выйти замуж за двух разом и умирает, приняв неосторожно усиленную порцию какого-то секретного лекарства; Пьер Безухий собирается убить Наполеона, долго остается в плену у французов и вообще мычет горькую жизнь. Все это, столь бесцветное в сухом перечне, в каком оно здесь представлено, конечно, рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим все сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестью, художественною правдою и простотою. Есть места, где простота эта дости-

гает необычной торжественности, и, как на образчик красот подобного рода, мы позволим себе указать на описание предсмертных дней и самой кончины князя Андрея Болконского. Прощание князя Андрея с сыном Никулушкою; мысленный или, лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность — все это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения во святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти. С этою страницей у нашего талантливового писателя мы могли бы поставить рядом лишь одну известную страницу, на которой пером Диккенса описана смерть маленького Домби, где некто нисходит под розовые занавесы постели больного ребенка и руководит переходом души его в одну из обителей, которых много у нашего отца; но страница, написанная нашим художником, далеко превосходит ту блестящую страницу Диккенса, о которой мы вспоминали и которая считается образцом описаний сцен подобного торжественно-грустного рода.

Она превосходит ее простотою, силою и без-эффектностью, в которой, собственно, и заключается свой великий и недостижимый эффект. Здесь нет «розовых занавес» даровитого Диккенса, здесь просто отход души — серьезный, но не страшный, торжественный, но не аффектированный. Это описание сравнительно проще всего в этом роде, как строгая творческая музыка композитора-драматурга по сравнению с шумихою трелей мотивиста.

Берем эту страницу за образец красот пятого тома сочинения гр. Толстого и делаем из нее выписку.

Дело идет таким образом: князь Андрей умирает от раны. Раненый, он встретился случайно с Наташею и остался на ее попечении. Он рад этой встрече. Между ним и Наташею не происходит никаких объяснений по поводу ее измены ему и всей ее печальной истории с Курагиным. И князь и Наташа молчат и снова любят друг друга. Вот как описывает автор своим волшебным пером отношения кн. Андрея к Наташе прежде, чем доходит до самой смерти Болконского:

«Это было вечером. Он (кн. Андрей) был,

как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны; Соня (приемыш Ростовых и невеста их сына Николая) сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

„Она. Это она вошла“, — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как кн. Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няньки, которые умеют вязать чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукою, осторожным, гибким и точным

движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание.

В Троицкой Лавре (во время путешествия раненого и Ростовых из Москвы) они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что если бы он был жив, он благодарил бы вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею, но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

„Могло или не могло это быть? — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. — Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего на свете. Но что же делать, ежели я люблю ее?“ — сказал он и вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила свой

чулок, перегнулась к нему ближе и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины, того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас: больше всего на свете.

— А я? — она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком? Ну, как вы думаете? как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

Эта сцена происходит перед самой смертью князя, и вот начинается описание смерти. Наташа убеждает князя уснуть. Это нужно для его здоровья. Он послушался ее и решился

заснуть.

Он выпустил, пожав, ее руку, и она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг, в холодном поту, тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все время, — о жизни и смерти, больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

„Любовь? Что такое любовь?..“ — думал он.

„Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Любовь есть бог, и умереть, значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику“. Мысли эти показались ему утешительными; но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное, не было очевидности, и было тоже беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же

комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед кн. Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Кн. Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые остроумные слова. Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает, идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит она. Но в то же время, как он бессильно, неловко берется за дверь, это что-то ужасное с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает послед-

ние усилия, — запереть ее уже нельзя, хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вышло, и оно есть смерть. И кн. Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, кн. Андрей вспомнил, что он спит, и, в то же мгновение, как он умер, он сделал над собою усилие, проснулся.

„Да, это была смерть. Я умер, я проснулся. Да, 'смерть-пробуждение'“, — вдруг просветлело в его душе — и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была поднята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

С этого дня казалось для кн. Андрея, вместе с пробуждением от сна, пробуждение от жизни, и относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжи-

тельности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и в последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо».

Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина смерти? Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. Это не шекспировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть восхóщенным», ни материалистическое «перейти в небытие», — это тихое и спокойное «пробуждение от сна жизни». Глядя таким взглядом на смерть, — умирать не страшно. Человек уходит отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это хорошо, и окружающие его

чувствуют, что это в самом деле хорошо, что это прекрасно. Одно это представление дает нам чувствовать в мирозерцании автора нечто иное, не похожее на мировоззрение целой плеяды других наших писателей, и мы вправе сожалеть, что сочинение графа Толстого не может ожидать себе в наше время талантливую критическую разборку. Мы знаем, как глядят и как взглянут на этот том те, которые у нас считают себя критиками. Каждый из них станет прикидывать его на масштаб своих направлений и похвалит его за то, в чем найдет нечто отвечающее его направлению, и злобно укорит за то, что ему покажется вредоносным для этого направления. Это уже было, и это будет снова, но так будет долго и долго, пока тяжелые судьбы нашей литературы будут оставлять ее без критических талантов. Графа Толстого уже упрекали в том, что он «сентиментал», «фаталист и миндальник»; другие столь же глубоко проносились свойства его творчества и хвалили его за какой-то особый род реализма, здоровый реализм, имеющий честь нравиться схоластикам-идеалистам; теперь недостает, чтобы за

приведенную сцену его упрекнули в поповстве, и этому нимало не мудрено случиться, и это опять будет столь же неосновательно, как укор в сентиментальности и похвала за особый реализм.

Но возвращаемся к роману. Красот, равных или подходящих по своему значению к выписанному нами образчику, немало заключается в пятом томе «Войны и мира», и выписывать их мы не можем в нашей, по необходимости ограниченной в своих размерах, статье. Дорожа местом, мы должны оставить романическое положение лиц и обратиться к историческим картинам отечественной войны, нарисованным автором с большим мастерством и с удивительною чуткостью. Этим мы смело надеемся доставить много интереса всем нашим читателям, которые не успели еще сами прочесть пятого тома «Войны и мира», а таких должно быть немало по всем углам и захолустьям русского царства, куда заходит наша газета и куда дорогой роман графа Толстого, при всем его громадном у нас успехе, попадет, вероятно, еще весьма не скоро. Может быть, военные специалисты най-

дут в деталях военных описаний графа Толстого много такого, за что они снова найдут возможным сделать автору замечания и укоризны вроде тех, какие ему уже были от них сделаны, но, по истине говоря, нас мало занимают эти детали. Мы ценим в военных картинах Толстого то яркое и правдивое освещение, при котором он нам показывает марши, стычки, движения; нам нравится самый дух этих описаний, в котором волею-неволею чувствуется веяние духа правды, дышащего на нас через художника.

## II. КНЯЗЬ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГОЛЕНИЦЕВ-КУТУЗОВ

Прежде всего, пятый том занимающего нас сочинения по преимуществу есть том самый военный. В этом томе автор даже чаще отказывает себе в очевидной для него потребности покидать порою нить рассказа и уноситься в область рассуждений — так сказать, пофилософствовать. Только в начале две первые главы первой части пятого тома имеют такие этюды, по поводу которых стоило бы нечто заметить, но на которых нам в газете также не пора останавливаться. Говоря о манере автора философствовать, мы просим не заподозрить нас в том, что мы ставим это в укор гр. Толстому. Мы как нельзя более далеки от этого. Мы вполне разделяем мнение другого нашего даровитого романиста, Ив. Ал. Гончарова, который в одном месте «Обрыва», нового прекрасного романа, о котором мы также дадим отчет нашим читателям, говорит, что «роман может поглощать все», в ро-

мане терпимы и уместны всякие отступления от рассказа, все роды литературы, «кроме скучного». Мы говорим, что в пятом томе «Войны и мира» меньше философствований, просто, не придавая этому никакого особого значения. Пятый том сочинений гр. Толстого носит на себе печать тех самых отношений автора к причине событий, какая лежит на всем сказанном им в четырех первых частях его сочинения. Это тот взгляд, который вызвал уже против Л. Н. Толстого возражения Норова и многих других современников отечественной войны и новейших военных специалистов-мыслителей. Автор «Войны и мира» не признает во всех событиях войны двенадцатого года ничего предугаданного, предусмотренного и совершенного по плану. По его выводам и заключениям, событиями управляют не главнокомандующие, не диспозиции, а нечто совершенно другое. Наш художник, стремясь осветить по-своему события отечественной войны, доказывает, что кн. Кутузов, которому приписана безмерная дальновидность, не имел вовсе определенного плана действий. С тех пор, как светлейший получил

власть действовать в звании главнокомандующего, до тех пор, пока французы бежали из России и «старый человек», как автор называет кн. Кутузова, радостно заплакал и воскликнул богу, что «молитва его услышана», дело отечества жило духом народа и духом «старого человека», а не его и ничьими другими предсмотрами, предначертаниями и планами. Умы кипятились и действовали только в суетливой среде одних мелких и крупных интриганов, работавших своими самолюбиями в нетленном и бесстрастном Петербурге и в штабе армии вокруг дремавшего «старого человека». В этой характеристике времени чувствуется большая правда. Каждому из нас, до кого путем семейных преданий дошли простые, не подкрашенные подогретым заносчивостью патриотическим задором, рассказы о событиях 1812 года, более или менее всегда были известны многие детали этой эпохи не в том подцвеченном виде, в каком представляли их военные историки, режиссеры и тенденциозные романисты (ряд которых начался не с гг. Писемского и Чернышевского), а в той простоте, в какой рисует их

нынче во всей их совокупности автор «Войны и мира». Дело было гораздо проще; и делали спасение отечества не энтузиасты и не интриганы, которые во все времена пригодны лишь к тому, чтобы, не делая дела, суетиться во имя дела. Истинные спасители страны спасали ее, заботясь всяк об исполнении своего ближайшего долга. Так вели себя народ, московские обыватели, солдаты и строевые офицеры армии, Кутузов и государь Александр Павлович. Ум Руси не гарцевал, а скорее цепенел в полудремоте, надеясь на промысл и своего дремлющего «старого человека». Кн. Кутузов, как полагает автор (в том с ним и можно согласиться), не знал, что делать. Он так же не хотел отстаивать Москвы, как не хотел он и сдавать ее. В третьей главе первой части пятого тома гр. Толстой подкрепляет этот вывод описанием такой сцены:

Когда Ермолов, посланный к Кутузову для того, чтобы осмотреть позицию, сказал фельдмаршалу, что под Москвою на этой позиции нельзя драться и надо отступать, Кутузов посмотрел на него молча.

«Дай-ка руку», — сказал он, и, повернув ее

так, чтобы ощупать его пульс, он сказал.

«Ты нездоров, голубчик, подумай, что ты говоришь». Кутузов еще не мог понять того, чтобы было возможно отступить за Москву без сражения.

За этим гр. Толстой представляет нам Кутузова на Поклонной горе, в шести верстах от Драгомиловской заставы. Фельдмаршал сидит на лавке, на краю дороги. Около него огромная толпа генералов, и между ними граф Растопчин. Этот «главнокомандующий Москвы» приехал из столицы и присоединился к свите фельдмаршала. В блестящем обществе, окружающем «старого человека», все говорят между собою шепотом о выгодах и невыгодах позиции; все с усилием держатся на высоте положения.

Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка сделана была прежде, что надо было принять сражение еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в ис-

панской мундире.

Везде и на каждом шагу видны меткие страсти, и егозится и кишит мелкое самолюбие, переходящее при всяком случае в пышные фанфаронады. Так, например:

Гр. Растопчин говорил о том, что он с московскою дружиною готов погибнуть под стенами столицы, но что все-таки не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что если бы он это знал прежде, было бы другое. Шестые, наконец, — прибавляет автор, — говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно — защищать Москву не было никакой физической возможности, в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о начатии сражения, то произошла бы путаница, и сражения все-таки не было бы, не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможною, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет по-

сле несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможною и потому не могли одни драться с уверенностью в поражении. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуживали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для ссоры и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог не морщась выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно, как день, видел цель Бенигсена; в случае неудачи защиты свалить вину на Кутузова, доведшего войско без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха себе приписать его; в случае же отказа очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его, и на вопрос этот никто не давал ответа. Вопрос теперь состоял толь-

ко в том, что «неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. Но когда же, когда решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена; войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание, казалось ему, одно и то же, что отказаться от командования армиею, А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый кн. Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему предназначено спасение России, и потому только, против воли государя и по воле народа, он был выбран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без содрогания и ужаса считать своим противником Наполеона, и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать.

Фельдмаршал понимал, что ему решительно не на кого опереться, что мелкие страсти и интриги, кишмя кишящие вокруг него, за своими заботами совсем позабудут дело, и вот в следующей главе мы видим Кутузова в избе мужика Андрея Савостьянова. Здесь в два часа происходит военный совет. Описание этого совета тоже необыкновенно интересно. Мужики и бабы большой семьи Андрея Савостьянова теснятся в черной избе. Одна только внучка хозяина, шестилетняя девочка Малаша, остается на печке и смотрит на светлейшего, который приласкал ее за чаем и дал ей кусок сахара. Ребенок, глядя с печи на Кутузова «дедушку», детским чутьем своим понимает, что здесь «все как бы против дедушки». Кутузов сидел особо от всех в темном углу за печкою. Вот как изображает здесь автор старого человека:

Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно побрякивал и поправлял воротник сюртука, который, хоть и расстегнутый, все-таки как бы жал его шею. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сер-

дито замахал рукою, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Собирается совет. За еловым крестьянским столом мы видим Ермолова, Кайсарова, Толя, Баркляя-де-Толли с его высоким лбом, сливающимся с голою головою, Уварова, кругленького Дохтурова, Остермана-Толстого, Раевского и Коновницына. Все ждут Бенигсена, «который доканчивал свой вкусный обед, под предлогом нового осмотра позиции». Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихим голосом вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но на столько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое серьезное молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и виде-

ла, как лицо его сморщилось; он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго.

— Священную, древнюю столицу России! — вдруг заговорил Кутузов, повторяя сердитым голосом слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгодно ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начинаются длинные прения, наблюдая которые, ребенку Малаше еще яснее чудится, «что дело все только в личной борьбе между дедушкой и „длиннополым“», как она называла Бенигсена.

Прения эти бог знает чем бы окончились, если бы Кутузов не закончил:

«Итак, господа, видно мне платить за перебитые горшки». И, медленно поднявшись, он подошел к столу и добавил: «Властию, врученною мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление».

Таким представляет гр. Лев Николаевич этого «старого человека», против которого кипели интриги и шипело злобою все его окружавшее, но который избран к спасению отечества непостижимым образом сложившеюся и высказавшеюся волею народа, как бы отождествлял в себе дух целого народа, и в эти великие минуты, и спя и бодрствуя, он чувствовал себя ковчегом, в который сложен для чуда засохший жезл народа. Он «был убежден, что в нем суждено расцвести этому жезлу, он в это верил, и в этой вере он черпал свою силу выживания и не смущался кишащею вокруг его пустою суетою, которая способна была бы сбить с рельсов и обессилить всякого, менее его крепкого владычным духом».

### III. ГРАФ РАСТОПЧИН

Совершенно не то, что мы видели в представленном нам графом Толстым изображении светлейшего Кутузова, являет нам другое историческое лицо того же времени — главнокомандующий Москвы, граф Раstopчин. Как тот представляет нам собою образец спокойной, самообладающей силы, то дремлющей, то возносящейся в моменты действия до истинного величия, так этот может служить образцом бравурной суетливости, возбуждающей в минуты благоприятные для жизни этого героя смех, а в моменты критические — горькое сожаление о нем и о всех деятелях подобного ему характера. Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гаменством главнокомандующего Москвы устроят во вверенной ему столице такой порядок, какой себе даже трудно представить. Оставление Москвы представляет ужасающую картину неопишуемых беспорядков. Благоразумно и с толком столицу оставили только те из ее жителей, которые не

слушались главнокомандующего и убирались кто куда мог, за добра ума. Те же, которые имели неосторожность послушать шаловливых уветов Растопчина, испили во славу его вполне горькую чашу. Побег московских обывателей из столицы в последние дни, до которых додержал их Растопчин, хвалясь, что побьет Наполеона, выйдя на него с московскими барышнями, был ужасен. Такого беспорядка и таких несчастий нельзя было бы ожидать и сотой доли, если бы действия Растопчина были хоть на волос серьезнее и обдуманнее, или, может быть, еще лучше, если бы Москвою вовсе никто не командовал. Мы выше сказали, почему светлейший князь Кутузов не мог устроить дела иначе, как они стали. Москва не могла быть защищена армиею, и Кутузов должен был вести войска к отступлению, хоть он, по всей вероятности, в это время не имел никакого дальнейшего плана действий, и сам не знал, к чему поведут его эти отступления. Он видел только, что отступление армии за Москву необходимо, что держаться нельзя, что вместо того, чтобы терять Москву и армию, гораздо благоразумнее ре-

шиться потерять одну Москву, без армии. Растопчину теперь, в силу этого решения фельдмаршала, предстояло регулировать очищение жителями столицы. Это нельзя считать очень великим: это, пожалуй, сделал бы всякий хороший обер-полицеймейстер. Вся задача Растопчина (единственная, исполняя которую он мог бы посуетиться с пользой) заключалась в том, чтобы обсудить с остающимися в городе представителями населения положение столицы и с общего совета предпринять самые несложные меры, чтобы жители, желающие оставить беззащитную Москву, выезжали и выходили из города, соблюдая возможный порядок. Растопчину не удалось сделать путем и этого. Он прежде всего ни с кем не совещается, а шумит и ершится со своим вздутым патриотическим задором. Для него не существуют невозможности, обуславливающие необходимость отступления, как для Кутузова. Его поражает срамность необходимой меры, совершаемой на основании математически верного вычисления: что выгоднее — потерять Москву и армию или одну Москву без армии? Ему до всего этого дела нет, он видит

в этом только срам и пропажу эффекта, какой бы он мог произвести с шаром Лепшиха, образом Иверской и сражающимися против французов московскими барышнями. Растопчин кричит, что Москва не будет ни за что сдана, и рассылает в этом духе афиши, писанные мужичьим языком, который его сиятельство, как и многие наши люди высокого положения, имеют слабость считать языком народным и потому особенно внятным и внушительным. Московские жители еще в июне и июле месяце предвидели или предчувствовали, что Москве не удержаться, и в начале августа начали уже выезжать из столицы. Это, конечно, было прекрасно и для тех, кто спасся, и для тех, которые оставались в городе; жизненные продукты дешевели бы, не было бы лишней суеты: каждый, имея свободу ехать или оставаться, зрелее бы обсуждал бы свое положение. Но Растопчин видел в этом вред.

«Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», — говорил он по этому поводу в своих афишах, которые, как беспощадно выражается автор «Войны и мира»,

обыкновенно были писаны «ерническим языком». Но, по несчастью, авторитет высокого положения графа РаSTOPчина, несмотря на всю нелепость его «писанных ерническим языком афиш», все-таки был столь влиятелен, что главнокомандующему Москвы удалось кое-кого застыдить своими афишами. Название «труса» было неприятно, и потому многие, чтобы не получить этой клички, стали удирать из Москвы крадком, потихоньку. Упрекать в этом московских обывателей было смешно, а их упрекал сам главнокомандующий. Они не рассуждали о том, хорошо или худо им будет, если французы начнут управлять ими; им просто под управлением французов нельзя было быть, это им было хуже всего, и они уезжали, кто куда мог, со своими семействами. Правда, что РаSTOPчин хвалился им даже намерением поднять Иверскую и указывал им на построенный Лепихом воздушный шар, с помощью которого РаSTOPчин обещал погубить французов, указывал он и на другой вздор, о котором подробно писал народу в своих афишах; но москвичи знали, что войско должно драться, и если оно не мо-

жет драться, то РаSTOPчин с московскими ба-  
рышнями и дворовыми людьми хоть если и  
выйдет на Три Горки воевать против Напо-  
леона, то вряд ли Наполеона одолеет, и поэто-  
му здравый смысл говорил москвичам, что  
балагурств поставленного над ними команди-  
ра слушать нечего и надо уезжать; они и уез-  
жали.

С этих пор РаSTOPчина совсем покидает  
всякая логика. У него нет никакого курса: он  
не знает, куда идет, так же, как Кутузов; но он  
проходит путь неведения своего не тихо и  
скромно, по-кутузовски, с головою, опущен-  
ною на грудь, а он то мечется, то мнетя, то  
прядает в лансадах. Вот как изображает его  
гр. Толстой.

Гр. РаSTOPчин то стыдил тех, которые уез-  
жали; то вывозил присутственные места; то  
выдавал никуда не годное оружие пьяному  
сброду; то захватывал все частные подводы,  
бывшие в Москве; то на 136 подводах увозил  
делаемый Леппихом воздушный шар; то на-  
мекал на то, что он сожжет Москву, то расска-  
зывал, как он сжег свой дом и написал про-  
кламацию французам, где торжественно

упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отказывался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить их к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в Москве г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения,[1] а без особой вины приказал схватить и увести в ссылку старого почтенного почт-директора Ключарева; то собирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами; то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастья Москвы; то писал в альбомы по-французски стихи об участии в деле. Этот человек, — говорит гр. Толстой, — не понимал значения совершающегося события и хотел что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своею маленькою рукою то поощрять, то задерживать течение громадного,

уносившего его вместе с собою, народного потока.

Гр. Толстой описывает, как Растопчин, во исполнение служебного принципа многих: «ничего не делай, да суетись», накидывается на ничтожного купчика Верещагина, трактирщика, который читал какую-то наполеоновскую прокламацию. Граф связывает это дело с самовластно исковерканною судьбою почт-директора Ключарева, которого почему-то ненавидел Растопчин. Ради того, чтобы раздуть само по себе ничтожное дело, главнокомандующий Москвы напускает на все это необычайную важность, заключает и Ключарева и Верещагина под стражу. Верещагин здесь и дождался вступления неприятеля в Москву, причем герой московской суеты, граф Растопчин, потешил свое русское сердце, затравив *pour la bonne bouche*[2] узника Верещагина смятенным народом, а потом закончив свою московскую службу собственноручною расправою с народом и плаксивою жалобою на Кутузова.

Со всем этим мы познакомимся через несколько строк, в описаниях последнего дня

командирства Раstopчина Москвою, дня, ознаменованною всеми безобразиями малодушной бесхарактерности, ребячьего каприза и бессердечия, а теперь пока на очереди Наполеон.

## IV. НАПОЛЕОН

Неприятель вступает в Москву. Вступление это опять описано у гр. Толстого необыкновенно картинно. 2 сентября в десять часов утра погода под Москвою стояла волшебная. Арьергарды русской армии выходили из Москвы через Драгомиловскую заставу, а с другой стороны в столицу вдвигались передовые войска Наполеона. По живописному выражению автора, пустая Москва, как сухая губка, «всасывала» в себя неприятельские ряды.

Москва с Поклонной горы расстилалась просторно со своею рекою, со своими садами и церквами и, казалось, жила своею жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопреде-

лимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города, и Наполеон чувствовал его.

Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва святая «Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!» — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscow и подозвал переводчика. «Город, занятый неприятелем, подобен девке, потерявшей невинность». — думал он. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним восточную красавицу. Ему странно самому, что, наконец, совершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание.

Гр. Толстой очень смело и с большою по-

следовательностью рисует душевные движения, которыми был полон Наполеон, глядя на лежащую у ног его русскую столицу.

Одно мое слово, одно движение моей руки, — думает Наполеон у Толстого, — и погибла эта древняя столица des Czars.[3] Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным. Я должен быть великодушен и истинно велик. Я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр больше всего поймет именно это, я знаю его (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром). С высот Кремля я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью помнить имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны, что я вел войну только с ложною политикою их двора, что я люблю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов.

— Пусть приведут ко мне бояр, — обратил-

ся он к свите.

Генерал с блестящею свитою тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни собраний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора такого, который сумел бы привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить

ничего чувствительного без упоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère,[4] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: «Etablissement dédié à ma chère Mère».[5] Нет, просто: «Maison de ma Mère»,[6] — решил он сам с собою. Но что же так долго не является депутация?

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами: посланные за депутациею вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещающихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть в Москве толпы пьяных, но никого больше.

Наполеон съезжает с Поклонной горы молча. Москва дала ему неприятный урок: рога его победительной гордыни надломлены, и надломлены не теми, кто делал вопрос из сда-

чи Москвы, а которые ушли из Москвы ради сохранения собственной жизни.

Первое поражение Наполеону нанесено москвичами, хотя они, уходя из Москвы, всего менее думали поразить этим гордого победителя, и первую ошибкою, в которую вовлекли его, открыт длинный ряд его последующих ошибок, закончивших его погибель.

Неумышленным ударом, который нанесли москвичи Наполеону, уйдя из столицы, у него как бы был отнят разум, и отселе начинаются самые гибельные и самые необъяснимые его промахи. Герой сражен был теми, кто и не помышлял вступить с ним в личное состязание.

# V. МОСКВИЧИ И ОПЯТЬ ВОЖДЬ ИХ

Москву в это время гр. Толстой картинно сравнивает с обезматочившим пчелиным ульем. Еще что-то копошится вокруг, летают и толкуются ошеломленные пчелки; но тем не менее улей пуст, ему нечем держаться. В описаниях обезматочившей Москвы картины следуют за картинами. Выпущенные на волю арестанты, сумасшедшие из желтого дома, несколько задержавшихся купцов с их стотысячными лавками, которых некому защищать, офицеры, которых не слушаются солдаты, солдаты, которые шмыгают назад в улицы и переулки, не слушая останавливающих их офицеров, толпы фабричных и свалки у кабаков и на мостах, крики, пьянство, дебоширство и оргии. Рабочие куражатся в кабаках, напиваются, ничего не понимают и дерутся друг с другом; происходят убийства, которых некому остановить и за которые неоткуда ждать никакого возмездия. Дворник дома Ростовых, рослый Игнат, стоит, красуется

перед большим зеркалом в зале; казачок Мишка в опустелом доме сидит и играет одним пальцем на клавикордах; на площади подьячий читает одной группе растопчинскую афишу. Отсюда начинается сцена, которая заканчивается травлей Верещагина. Мы позволим себе выписывать всю эту сцену.

У стены Китай-города небольшая кучка людей окружила человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

— Указ, указ читают! указ читают! — слышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 августа (это было 2 сентября). Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишу сначала.

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, — читал он (Светлеющему, торжественно улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), — чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух... („Видал? — победоносно прокричал малый. — Он тебе

всю дистанцию развяжет...“) — искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и французов отделаем».

Последние слова были прочитаны чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду» видимо даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно-понятно. Это было то самое, что каждый из нас мог сам сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

В это время появился на дрожках полицеймейстер, сопровождаемый двумя драгунами, и дал на народ добрый окрик. Приказный от лица народа выступил и робко доложил полицеймейстеру, что народ сошелся «по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота послужить». Полицеймейстер объявил, что о них будет сделано распоряжение, и велел

своему кучеру ехать.

«Обман, ребята, — кричит народ. — Иди к самому, пуцай отчет подаст», — и толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

«Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то пропадать будем; что ж мы собаки, что ли», — слышалось чаще в толпе.

XXIV глава романа представляет нам эту самую народную группу перед лицом главнокомандующего Москвы, и при этом странный, дикий и почти невозможный поступок Растопчина. Растопчин в это время был крайне недоволен Кутузовым за то, что светлейший его не спрашивал и вовсе устранял от рассмотрения его неуместные вопросы, которые вообще любят предлагать на обсуждение люди, подобные суетному и суетливому графу. В первом часу ночи Растопчин получил от Кутузова письмо. В письме этом князь излагал Растопчину, что так как войска отступают на рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников для проведения войск через город. Гр. Растопчин, после свидания с Кутузовым на Поклон-

ной горе, хотя и знал, что Москва будет оставлена, но тем не менее решительное известие об этом, сообщаемое ему в виде простой записки, удивило и раздражило его.

Впоследствии, обсуждая свою деятельность за это время, гр. Растопчин несколько раз писал, что у него были две важные цели: удержать спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.

Если допустить эту двоякую цель (рассуждает автор «Войны и мира»), то всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи народа обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? — Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение гр. Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Лепшиха и другие предметы? — Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение гр. Растопчина. Стоит только допустить, что что-нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным. Все ужасы террора

основывались только на заботе о народном спокойствии. На чем же основывался страх гр. Растопчина о народном спокойствии в 1812 году? Не только в Москве, но и во всей России не произошло ничего похожего на возмущение. 1-го и 2-го сентября более десяти тысяч человек оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего, и то привлеченной им самим, ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, ежели бы тогда, вместо того чтобы волновать народ раздачею оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороха, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.

Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя

роль руководителя народного чувства сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением, посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ерническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставить Москву без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать. Он сам был занят только тою ролью, которую он для себя сделал.

Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно поручено было ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было

ВОЗМОЖНОСТИ.

«Кто же виноват в этом? кто допустил до этого? — думал он. — Разумеется, не я. У меня все было готово. Я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» — думал он, не определяя хорошенько, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

Великому администратору было очень тяжело, когда ему пришлось испытывать тяжелую сторону администраторской позиции. Теперь дело шло не по маслу, гр. Растопчину стало не во что упираться, а между тем его начинают нажучивать со всех сторон требованиями разрешений, в свою очередь требующих от него, — и непосредственно от него, а не от его секретарей и помощников, — настоящих администраторских способностей, которые так редки и находятся в зависимости от самых многосложных условий, благоприятное сочетание которых едва ли возможно в человеке, убежденном, что можно управлять

людьми по одному праву своего положения.

«— Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли от директора за приказаньями, из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал, спрашивает, о пожарной команде как прикажете?.. Из острога смотритель, из желтого дома смотритель»... всю ночь, не переставая, докладывали графу.

На все эти вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказанья его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено как-то и что этот кто-то будет нести ответственность за все, что произойдет теперь.

— Ну, скажи ты этому болвану, — отвечал он на запрос от вотчинного департамента, — чтобы он оставался караулить свои бумаги. Ну, что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади, пускай едут во Владимир. Не французам оставлять!

— Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?

— Как прикажу? Пускай едут все, вот и все. А сумасшедших выпустить в городе. Когда у

нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.

На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на зрителя.

— Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и все!

— Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.

— Верещагин! Он еще не повешен? — крикнул Растопчин, — Привести его ко мне!

И вот отличный администратор обращается в образцового судью, и мы видим суд, который достойно передать потомству.

К 9-ти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собою; те, кто оставался, решали сами собою, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, небурное время, — рассуждает автор, — ка-

жется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору с своею утлою лодочкою, упирающемуся шестом в корабль народа и самомудвигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уже заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это-то раздражало его.

Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил,

что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшего его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную, светлую гостиную и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукою, говорил что-то; окровавленный кузнец с мрачным видом стоял возле него (кузнец был избит своими же в кабаке). Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

— Чего они хотят? — спросил Растопчин у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собрались на французов, по вашему приказанию; про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стал у дверей балкона, глядя на толпу. «Вот, что они сделали с Россиею, вот, что они сделали со мною, — думал Растопчин, чувствуя в своей душе неудержимый гнев против кого-то,

кому можно было приписать причину всего случившегося. — Вот он народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью. Им нужна жертва», — пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукою высокого малого. И потому сáмому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.

— Готов экипаж? — спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина, он ждет у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг замолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята, — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите

меня. — И граф так же быстро вернулся в покой, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрителный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь, француз... Он тебе всю дистанцию развяжет», — говорили люди, каждый упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидел из-за угла дома выходявшего между двух драгун молодого человека с длинною тонкою шеею и с до половины выбритою и заросшею головою. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в не чищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых

ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

Это-то и был тот злодей, от которого погибла Москва и с которым потому надо было управиться, наказать его. Одним словом, этот молодой человек был трактирщик Верещагин, виноватый в чтении наполеоновской прокламации.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая от молодого человека свой взгляд и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! — Молодой человек, брэнча кандалами, тяжело переступил на указанную ступеньку, придерживав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинную шею и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие рабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающих к одному месту людей слышались крихтения, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остано-

вился на указанном месте, хмурясь, потирал лицо.

— Ребята, — сказал Растопчин металлически-звучным голосом, — этот человек, Верещагин, тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив руки перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадёжным выражением, обезображенное бритую голову, лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и посмотрел снизу на графа, как бы желая ему сказать что-то или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напряжилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва (еще не третий раз!), — говорил Растопчин ровным резким голосом, но вдруг взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу:

— Своим судом расправляйтесь с ним! Отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного становилось невозможно. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и с разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— Бей его! пускай погибнет изменник и не срамит имени русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю!

Становится страшно и ужасно даже выписывать эту возмутительную сцену! Если мы сопоставим с нею убиение князя Михаила в Орде или убийство подручниками Стеньки Разина митрополита Иосифа в Астрахани, то и дикая Орда и звероподобные астраханские наместники Разина покажутся нам в тысячу крат сноснее этого администратора, бывшего всего пятьдесят лет тому назад представителем законной, государственной власти.

Дикая Орда и разинские разбойники убивали людей, которые не только казались им опасными, но и в самом деле могли быть опасны для них, и притом убивали их с согласия большинства, а тут толпа натравливается на существо вполне ничтожное, и натравливается одним человеком, который привык держать в руках своих большую власть и между тем нервничает, как испорченный ребенок, требующий, чтобы для его потехи разорвали перед ним попавшего ему на глаза слепого котенка!..

Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и подвинулась, но опять остановилась.

— Граф, — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один бог над нами, — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев, так же, как и Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая, еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый с окаменелым выражением лица и с остановившеюся поднятою рукою стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с искаженным злобою лицом ударил Верещагина тупым палахом по голове.

— А! — коротко и удивленно вскрикнул Ве-

рещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе. «О, господи!» слышалось чье-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та, натянутая до высшей степени, преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, порвалась мгновенно.

Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслоняясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей, и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли спасти окровавленного, до полусмерти избитого фабричного, и долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые душили, били и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его...

— Топором-то бей, что ли?.. задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живущ... По делам вору мука. Запором-то!.. Али жив...

Только когда перестала уже бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипением, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О, господи, народ-то что зверь, где же жи-

вому быть? — слышалось в толпе. — И малый-то молодой... должно из купцов, то-то народ сказывают, не тот... как же не тот... О, господи. Другого избили, говорят... эх, народ... кто греха не боится...» — говорили теперь те же люди с болезненно-жалостным выражением, глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длиною, тонкою шеею.

Выписав эту сцену, не можем не пожелать, чтобы на ней остановились и над нею пораздумали те, кому по легкомыслию или злосердечию нравятся народные расправы. Выросли, по их мнению, народ в пятьдесят лет, отделяющих нас от этого события настолько, чтобы, расходясь, не разбирать, кого он бьет, своего или чужого, врага или товарища, и, с другой стороны, дал ли он речательства в том, что, совершив безумное злодейство толпою, он сам не станет сетовать об этом злодействе и скорбеть о пролитой крови, сколько бы жертва его азартной свирепости ни казалась ему за минуту пред тем преступною? Мы хотели бы, чтобы над этим остановился г. Герцен, писавший воззвание «к топорам», и

те, которые легкомысленно распространяли и поддерживали некогда это воззвание... Если их успокаивала цель, оправдывающая средства, то цель такая была и у Растопчина, и притом, как мы сейчас увидим, это в основании своем одна и та же цель, что у всех непрошенных опекунов общественного счастья.

Произведя этот суд и расправу, гр. Растопчин уехал из города.

Покачиваясь на мягких рессорах экипажа, он физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор, как существует мир, люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокаивая себя этою мыслию Мысль эта есть *le bien publique* (общественное благо), предполагаемое благо других людей. Для человека, не одержимого страстию, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Рас-

топчин теперь знал это.

Растопчин знал это, как знают это все, одержимые страстию, кто призывал массы к таким страшным расправам, к какой призывал Растопчин народ, растерзавший Верещагина. Библейские цари, пророки и первые христиане — все они убивались не бесцельно, а для *bien publique*. Дети иудеев в Египте, равно как и сверстники Христа, — вифлеемские грудные младенцы, — все тоже были изведены для общественного блага, и если счесть жертвы, преступно погубленные ради этого высокого принципа, то он представится нам таким же окровавленным, каким представлялась г-же Ролан статуя французской свободы. Да, да, — все это не ново, и, к сожалению, все это до сих пор еще не устарело настолько, чтобы этим пренебрегали вместе со старым, довечным способом оправдания те новые люди, которые сулят миру новое царство им одним, в их страстном ослеплении, известных истин.

Растопчин успокоил себя совершенно тем, что затравил Верещагина публикою для *bien publique*, и, подъезжая к Яузскому мосту, он

кончил совсем со своею совестью. Он убедил себя, что ему «должно было поступить так, что этого требовало le bien publique». Но у Яузского моста предстоял еще один последний экзамен администраторским способностям РаSTOPчина и его натуре.

Было жарко, — описывает автор. — Кутузов, нахмуренный и унылый, сидел на лавке возле моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими, не то гневными, не то испуганными глазами, подошел к Кутузову и стал по-французски говорить ему что-то. Это был гр. РаSTOPчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда потому, что Москвы и столицы нет больше, и есть одна армия. «Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы», — сказал он.

Кутузов глядел на РаSTOPчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что-то особенное, написанное на лице говорившего с ним человека. РаSTOPчин, смутившись, за-

молчал. Кутузов слегка покачал головою и, не спуская испытующего взгляда с лица Раstopчина, тихо проговорил: «Да, я не отдам Москвы, не дав сражения».

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но гр. Раstopчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело!.. Главнокомандующий Москвы, «гордый гр. Раstopчин, взяв в руку нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки».

Как малозначительна, слаба и жалка в самом деле выходит в этом верном художественном образе эта административная лодочка, потерявшая возможность упереться своим шестом в народный корабль, который, мнилось ей, и она в силах свести куда-нибудь.

Но обращаемся к другим, баталическим, картинам и другим типам, которые рисует нам гр. Толстой в пятом томе «Войны и мира». Французы уже в Москве, и происходит известный московский пожар, исследование, или, лучше сказать, вероятное предположение причин которого интересно не менее все-

го, до сих пор рассказанного, и достойно всего  
нашего внимания.

## VI. МОСКОВСКИЕ ЗАЖИГАТЕЛИ

Сожжение Москвы автор «Войны и мира» не приписывает ничьему умыслу, ни патриотическому, ни вражескому, и этим, всеконечно, опять приведет в немалое раздражение тех, кто привык и во что бы то ни стало желает видеть в сожжении Москвы один из величайших поступков русского не только безгранично большого, но и безгранично дальнорзоркого патриотизма. Простота, с которою гр. Толстой относится к московскому пожару, должна очень не нравиться сентиментальным энтузиастам и фразистым патриотам, а между тем в этой простоте слышится и чувствуется такая правда, что удивляешься, как можно думать иначе?

«Копеечной свечи», от которой сторела, по поговорке, Москва, никто не зажигал с целью поджога. Граф Толстой говорит, что великий по размерам и по своему колоссальному значению пожар московский произошел от того же, от чего происходят на Руси девяносто де-

вять всех пожаров — от неосторожности в обращении с огнем, или, как выражались наши старые судебные места, «от воли божией». На московском сожжении все путались, потому что никто не хотел посмотреть на это дело просто.

Французы, — говорит граф Толстой, — приписывали пожар Москвы au patriotisme férocе de Rastorchine;[7] русские — изуверству французов. В сущности же причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или нескольких лиц, таких причин не было и не могло быть.

Москва, по мнению автора, сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город непременно должен бы сгореть, независимо от того, было или не было в нем около сотни (130) плохих пожарных труб.

Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях — владельцах

домов и при полиции бывают почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры и варящие себе есть.

Автор вспоминает, что если везде, где только бывают расквартированы войска, число пожаров в той местности тотчас же увеличивается от войск своих, то тем паче число это должно было увеличиваться от войск вражеских. Нам кажется, что против второй части этой мысли автору можно бы нечто возразить: вражеское войско, несмотря на свою враждебность, для увеличения числа пожаров могло значить, пожалуй, гораздо менее своего собственного, а не более. Со стороны пожарной опасности всех опаснее те, кто невежественнее и небрежнее обращается с огнем, а в этом случае первенство у нас едва ли может быть кем-нибудь восхúщено. В последнюю крымскую войну было известно очень много примеров, что побывки неприятельских войск в обывательском доме обходились хозяину несравненно дешевле, чем гостинка своих русских войск и особенно каза-

ков. Пишущий эти строки слышал сам множество таких жалоб от верных русских людей и имел случай читать об этом картинные описания в одном из крымских очерков г. Маркова (напечатанном с бесцеремоннейшими урезками, смысла которых объяснить невозможно). Но, оставя всякий спор, в самом деле можно верить, что *le patriotisme féroce de Rastorchine* и изуверство французов в сожжении Москвы нимало не причинны и что Москва, как говорит Толстой, «загорелась от трубок, от кухонь, от неряшливости неприятельских солдат, от жителей — не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотливо и опасно), [8] то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва

должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей».

## VII. ВЫСКОЧКИ И ХОРОНЯКИ

Гр. Лев Николаевич вообще относится без особого почтения к деятелям, манкирующим судьбою частных лиц и своими собственными ближайшими частными обязанностями, а все усиливающимся иметь в виду лишь одно *le bien publique* (общественное благо). Толстой приводит весьма красноречивые доказательства, как такие суетливые люди в общем великом деле не приносят никакой пользы, а еще гораздо чаще причиняют весьма осязательный вред. Этот вывод, довольно верный вообще, особенно хорошо подходит к событиям двенадцатого года. Те, которые, не быв призваны к действию на освобождение отечества, сами вмешались в это дело и даже удивляли народ своими жертвами, нередко приносили этими жертвами гораздо более вреда, чем пользы. Полки казаков, и собранные и содержимые богачами Мамоновым и Пьером Безухим, разбойничали и грабили окрестные деревни. Честный и бла-

гонамеренный Пьер Безухий, возомнив себя призванным освободить отечество посредством лишения жизни Наполеона, чуть не расстрелян в одной категории с ворами и потом, отсиживаясь в плену, поучался успокоительной мудрости у разделявшего с ним плен у французов солдатика Платона Каратаева, который «попал в солдаты за то, что из лесу хворостину украл, а вышло это хорошо — женатого брата собою заступил». Библейская Юдифь и Вильгельм Тель были призваны и избраны, и они совершают, — Безухий делает faux pas[9] и отсиживается за это в сарае. Дальше, другие специалисты-спасители, генералы, окружавшие Кутузова и желавшие если не заменить его, то снять его с его места, pour le bien public всё делают, чтобы достичь своих благородных целей: Бенигсен, РаSTOPчин, Ермолов — все из кожи вон лезут и пружатся, чтобы стяжать себе от честного потомка... упрек в неумении стать в критические для отечества минуты выше мелочей собственного генеральского самолюбия, и вредят делу весьма серьезно. И все то, что каждый из них делает, он делал в убеждении,

что делает это pour le bien publique, и из всего выходило одно зло и один вред. Пользу приносили в благопотребную пору лишь те, кто не задавался широкими замахами для le bien publique, а действовал просто и искренно, не забывая своих ближайших частных интересов и исполняя тем свой долг. Это были Кутузов да сама publique, само население страны, которое, по выражению автора, органически сослужило отечеству свою великую службу. Всем, знакомым с толками и возражениями, которые возбудили в нашем обществе подобные воззрения автора «Войны и мира», известно, сколько этот простой и безэффектный взгляд его раздражил и раздражает некоторых историков и ветеранов двенадцатого года. Эти почтенные люди, желающие выставить каждое тогдашнее движение осмысленным, во всем видят строго обдуманый план и исполнение великих диспозиций, которые de facto,[10] действительно только писались и почти никогда не выполнялись. Нынешняя книга «Войны и мира», в которой автор, нимало не убеждаясь возражениями, сделанными ему ветеранами, еще настойчивее стара-

ется доказать, что в наиболее трудную эпоху отечественной войны никаких обдуманых планов ни у кого не было, и диспозиции, какие давались при каком-либо деле, никогда почти на практике не исполнялись, всеконечно еще более раздражает охранителей старых представлений и снова вызовет ряд опровержений, основываемых на текстах известных писателей, изображавших ту недавнюю (и уже сделавшуюся спорной) эпоху. Вперед можно предрешишь, что во всех возражениях, которые могут быть сделаны гр. Толстому по печатанным источникам, автор «Войны и мира» будет непременно опровергнут. Но есть источники иные, не печатанные и даже не писанные, но тем не менее достоверные: это семейные предания, которые живо сохранились еще у многих из нас и которым мы не имеем никаких оснований не доверять.

Они говорят нам, что гр. Толстой не ошибается в своих заключениях, что Россию действительно спасло не геройство полководцев, не планы мудрых правителей, а та органическая сила, которая была тверда в государе, фельдмаршале, солдатах, во всем народе. Од-

ним словом, сила спасения заключалась в тех, кто, не рисуясь и не бравируя, делал свое дело, даже, если угодно, в барыне, которая убежала из Москвы в Самару со своими карликами и шутихами, потому что она не хотела покоряться Наполеону, тогда как Берлин и Вена его приняли торжественно, как победителя, и плясали на балах во время постыдного чужеземного владычества. У Вены и Берлина не было этого сокровища, этой барыни с шутихами, которой не только лишь скромные дочери нашей отчизны, а все мы так стыдились и морщились от нее... Это некоторым образом был «камень, которым небрегли зиждущие» и который высокоправдивый и смелый писатель бестрепетною рукою вознес во главу угла. Автор «Войны и мира» так говорит о вкоренившихся фальшивых представлениях на счет событий отечественной войны:

В то время, как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были

заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасти отечество или плакать над его гибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянии, горе и геройстве русских. В действительности все это так не было. Нам кажется это только так потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных человеческих интересов, которые были у людей. А между тем в действительности те личные интересы настоящего в такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется, не заметен даже интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.[11]

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества, они видели все наыворот, и всё, что они делали для пользы,

оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. В Петербурге и губерниях, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п., но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отметить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантке и тому подобное...

## VIII. БОГАТЫРЬ НЕРАССУЖДАЮЩИЙ

Как бы в противоположность прекрасно и ярко обрисованному типу рассуждающего и умного человека тогдашнего времени, в лице князя Андрея, в «Войне и мире» есть также искусно срисованный иной тип в лице Николая Ростова. В последнем томе у автора нарисована весьма подходящая к делу картинка, на которой гусар граф Николай Ростов представлен пребывающим в Воронеже. Вояка этот не то, что князь Андрей, этот и в военное время, как и в мирное, живет, «не портя мыслью аппетита». Он на балу у воронежского губернатора ухаживает за какою-то одною замужнею блондинкою с наивнейшею бесцеремонностью, присвоенною истым гусарам тогдашнего времени, когда каждый «Бурцев, забияка, собутыльник дорогой», искренно верил, «что чужие жены сотворены для него». Ростов так бесцеремонно приударяет за чужою женою, что хозяйка дома даже считает нужным заступиться за «бедного мужа», с ко-

торым наивный гусар между тем даже считает себя другом и, может быть, думает, что он делает ему честь, увлекая его жену под сень струй...

# IX. ВРАЖЬЯ СИЛА

Кроме сил, заключавшихся в величии духа Государя Александра Благословенного, в старческой мудрости Кутузова, в величавом спокойствии народа и покорной преданности солдат, граф Лев Николаевич видит причины нашей победы над Наполеоном еще в самой наполеоновской армии и даже в самом Наполеоне. Великая армия Наполеона, по выводам графа Толстого, принесла с собою к нам в Россию уже готовые задатки своей гибели. С Наполеоном в Москве случилось нечто необъяснимое или нечто объяснимое только русской пословицею: «Кого бог наказать захочет, прежде всего разум отнимет». Автор не соглашается с военными писателями, что известный фланговый марш за Красную Пахру был делом строго обдуманном, как полагают писатели, много препиравшиеся о том, какому лицу приписать эту глубокомысленную диверсию? Нельзя не согласиться с автором, что нелегко в самом деле понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения. Что самое лучшее положение для армии,

которую не гонят и не атакуют, есть то положение, в котором люди легче берегут здоровье и где более продовольствия, — это можно понимать, нисколько не будучи гением. В 1812 году всякий знал, что самое выгодное положение армии после отступления от Москвы было на калужской дороге, и потому трудно понять, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть нечто глубокомысленное в этом маневре. Дело в том, что обыкновенно, говоря о гениальности этого движения, забывают, что хорошо, что случилось так, что не случилось многого такого, что легохонько могло бы случиться! Автор ставит ряд очень красноречивых вопросов:

Что было бы, если бы не сторела Москва, если бы Мюрат не потерял из виду русских, если бы Наполеон не находился в бездействии, если бы под Красною Пахрою русская армия, по совету Бенигсена и Баркляя, дала сражение? Что было бы, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрою? Что было бы, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал русских хотя бы с одною десятою долею той энергии, с

которую он атаковал в Смоленске? Что было бы, если бы французы пошли на Петербург? При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.

Совершенно верно, что случись одно что-нибудь из того, что насчитано Толстым, — и «гениальное» фланговое движение вышло бы вовсе не гениальным и обошлось бы нам страшно дорого. Автор смело заключает, что

в месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянке русских под Тарутиным совершилось изменение в отношении сил обеих войск, духа и численности, вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Признаками этого были: присылка Лористона, изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии, беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и продолжительный отдых русских солдат.

## Х. ВРЕДИТЕЛИ И ИНТРИГАНЫ

Охотников вредить главнокомандующему было много повсюду, и особенно вблизи его собственной особы. Все эти люди, все эти «сподвижники», правя свои срывки с «старого человека» и копая ему ямы, вовсе и не помышляли, что они роют могилу отчизне. Автор рассказывает, что в штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с его начальником штаба Бенигсеном, и еще более по случаю присутствия там доверенных лиц государя, шла сложная игра партий: А подкапывался под В, D под С и т. д. Решения давались не такие, какие бы желалось давать, все путалось, срывалось не на том, с кого хотелось сорвать, все друг друга подзадоривало, злило и смущало. «Старый человек» является таким многострадальным страстотерпцем, что его действительно становится необыкновенно жалко и он овладевает в душе читателя большими симпатиями. Полновластнейший князь Кутузов так осилён недостойнейшими

интригами (ради bien publique), что нередко вынужден поступать против своих убеждений и, чтобы кинуть отступного докучной интриге, дает кровопролитнейшее тарутинское сражение, судьбу которого предвидел и нима-ло в ней не сомневался.

Здесь идет весьма замечательный рассказ о том, что побудило фельдмаршала к тарутинскому делу. Это отчасти напоминает прежние рассуждения автора о самых причинах войны с Франциею, за которые граф Толстой уже выслушал столько разнообразных замечаний. Автор рассказывает следующее:

Второго октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил одного и подстрелил другого зайца. Гонясь за подстреленным зайцем, казак Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак смеясь рассказал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услышав этот рассказ, сообщил его командиру.

Казака призвали, расспросили: казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из на-

чальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному офицеру. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего для того, чтобы сделано было наступление.

— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Бенигсен.

Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, пославшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог избежать неизбежного движения и отдал приказание на то,

что он считал бесполезным и вредным, благо-  
словил совершившийся факт.

Впоследствии Кутузов получил от государя письмо, писанное 2-го октября. Государю тоже было угодно, чтобы отступления и выжидания были заменены действиями иного рода. Кутузов по этому письму покойного императора непременно должен был бы дать сражение, которое, как выше сказано, сам он, Кутузов, считал бесполезным. Впрочем, письмо императора было получено тогда, когда сражение было уже дано.

Над ролью, которую играл в этом деле Алексей Петрович Ермолов, тоже нельзя не остановиться. О характере и правилах этого деятеля в некоторых слоях нашего общества существуют представления весьма неверные. Граф же Толстой рисует нам эту недавно оставившую свет личность в том свете, в каком большинство людей, имевших случай знать покойного Ермолова, представляли его лишь в самых интимных рассказах. Перед начинающимися сейчас строками вспомним, что Ермолов жаждал схватки и, как мы видели несколько строк назад, даже докучал этим Бе-

нигсену. Теперь желания его исполнились. Кутузов против своей воли и против всех расчетов и соображений давал сражение. Алексею Петровичу предоставлено самое распоряжение началом дела. Наступление было назначено пятого октября.

4-го числа утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая заняться дальнейшими распоряжениями. Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения.

Но посланный нигде не находил Ермолова и после долгих стараний отыскал его уже на какой-то пирушке. Этому последнему говорил его штабный товарищ, что Ермолов отлучился не случайно. «Это штуки, это все нарочно, чтобы Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!»

И действительно, Ермолов «подкатил» Коновницына. Является ужасная каша, какой свой своим не должен бы, кажется, подстроить ни из каких видов, а не только из-за того, чтобы «подкатить Коновницына». Диспози-

ция не повела ни к чему. Сколь ни велика была власть фельдмаршала и сколь ни важными должны были казаться в эти критические минуты его приказания, они не исполнены самым дерзостнейшим образом. Виновником всего этого неисполнения, за что следовал бы самый строгий военный суд, является генерал Алексей Петрович Ермолов, тот самый Ермолов, которого общественное мнение всегда почитало крайне обиженным и желало видеть его во главе наших военных сил в последнюю крымскую войну.

Вот что рассказывает граф Толстой об этом еще очень недавно весьма популярном у нас человеке:

На другой день рано утром дряхлый Кутузов велел разбудить себя, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которое он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташовки, 5 верст позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не началось ли дело? Но все еще бы-

ло тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведущих на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил: «Какого полка?» Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», — подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашею и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказа о выступлении не было.

— Как не было? — начал Кутузов, но тотчас же замолчал и велел позвать к себе старшего офицера. Когда был призван офицер, оказалось, что действительно приказа от Ермолова передано не было. Кутузов разругал этого офицера площадными словами. Другой подвернувшийся капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.

— Это что за каналья еще? Расстрелять! Мерзавцы! — хрипло кричал Кутузов, махая

руками и шатаюсь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел такой власти в России, как он, он поставлен в это положение, поднят на смех перед всею армиею! «Напрасно так хлопотал, молился об нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал, — думал он о самом себе. — Когда я был мальчишкою офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мною...» А теперь!.. Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками.

Вот какие вещи проделывали «сподвижники» с главнокомандующим, в руках которого, по-видимому, действительно была сосредоточена громаднейшая власть. Но и это еще не все. Спасители отечества не уставали в интригах и в крайних дерзостях перед единым сильным в этой брани «старым человеком». Кутузова терзали интригами на каждом шагу, а к тому же и сам он, чему легко верится, еще более терзался тем, что не знал, что предпринять и как спасти государство? Он имел один

план довести французов до гибели, «заставить их жрать лошадиное мясо», но как устроить эту гибель? Это не слагалось ясно в его сознании. Гибель эта устроилась, как полагает гр. Толстой, сама собою. На диспозицию в сражении никто не попал, ни гр. Орлов-Денисов, ни Греков; пехотные колонны не показывались. Гр. Орлов-Денисов шепотом скомандовал своим людям «садись», распределились, перекрестились и с богом! По лесу загремело «ура», и одна сотня за другою со своими дротиками наперевес полетели казаки через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидевшего казаков француза, и все, что было в лагере, не одетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата и все, что тут было Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал.

Дальше идет картинное описание самого Тарутинского дела, при котором все сбивались, путались, не попадали на свои места по диспозиции, упрекали друг друга бог весть в чем и гибли в огромном числе, без всякой пользы.

Когда Кутузову донесли, что в тылу французов, где прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова.

— Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступим к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услышав эти слова.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов и толкнул коленкою Раевского, стоявшего подле него.

Все сражение состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.

Но... да не посетуем на старческую мудрость и старческое равнодушие «просыпав-

шегося и снова засыпавшего Кутузова». Старость вообще ходит осторожно и подозрительно глядит, да и нельзя ей глядеть иначе, когда она знает «как делается история». Тарутинское сражение было дело, за которое, по словам Толя, «надо было расстрелять», а по словам Кутузова, это было дело, потерянное по непростительному неумению, небрежности и беспорядку, а между тем окончилось это дело для «сподвижников» вот чем:

Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак; Бенигсен тоже алмазы и 100 000 р.; другие по чинам соответственно получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемены в штабе.

«Вот так у нас всегда делается, все навыворот», — говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, точно так же, как говорят и теперь, что кто-то там глупый делает так навыворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие таким образом, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя.

Злобная, своекорыстная интрига особ, у ко-

торых на устах не остывало le bien publique (общественное благо) и которые в то же время на самом деле заботились только о своих самолюбиях, не оставляла фельдмаршала и в последующие дни, пока не исполнился обет монарха, и ни одного неприятельского воина не осталось на земле русской. В то время, когда армия Наполеона, по непостижимым ошибочным расчетам вождя своего, двинулась бог знает какими путями, преступно растратив провиант, с которым она могла держаться и в Москве и во многих местах по дороге; когда Кутузову донесено было, что Москва свободна, и «старый человек» заплакал и, благословив бога, воскликнул «Россия спасена!» — все высшие чины армии почувствовали неотразимое желание отличиться, отрезать, перехватить, полонить французов, и все требовали наступления. Кутузов один все силы свои употреблял для того, чтобы противодействовать наступлению.

Кутузов не мог сказать жаждавшим резни того, что мы говорим теперь: зачем сражения, и загоразивания дороги, и потери своих людей, и бесчеловечное добивание несчастных?

Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть французского войска. Но он говорил им, выходя из своей старческой мудрости, то, что они могли понять. Он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмою Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о их обмане, вместо донесения, они прислали в конверте лист белой бумаги. И сколько ни старался Кутузов удерживать войска, войска наши атаквали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки с музыкою и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Этим кончается вновь вышедший пятый том «Войны и мира», представив нам взгляды хотя и не совсем новые, но высказанные с замечательным тактом и убедительностью, и очертив многие исторические лица не карандашом казенного историка, а свободною рукою правдивого и чуткого художника.

# XI. ДВА АНЕКДОТА О ЕРМОЛОВЕ И РАСТОПЧИНЕ

Ермолов и Раstopчин графа Толстого (которые, конечно, вполне ответственны для автора) отныне останутся в представлениях общества не такими, какими их изображали режиссеры да надутые слухи, а такими, какими они легко и рельефно представляются каждому по художественным абрисам гр. Толстого. Его Ермолов, забывающий распорядиться Тарутинским сражением и отшучивающий кадетские шутки с фельдмаршалом Кутузовым, которому этот нетерпимейший из самолюбивых людей, как школьник, прислал вместо донесения лист белой бумаги, это тот же самый Алексей Петрович Ермолов, который после большой популярности, составленной себе на Кавказе, осевшись в Москве и потеряв всякую возможность фигурировать в хорошей позиции в влиятельных сферах, как манерная барышня принимал воздыхания, выраженные в известной (особенно в то время) басне: «У всадника, наездника лихого, был

конь». Подразумевалось, что в басне этой проводилась ермоловская история, что «конь» — это был сам Ермолов, а «всадник, наездник лихой», император Александр Первый. Басня, как все, вероятно, помнят, развивалась таким образом: «Наездник лихой умер, и конь его достался новому всаднику; но новый всадник боялся, или не умел сесть на этого коня и потому держал его на стойле». Басня эта во мнении Ермолова равнялась смелости, чтобы «истину царям с улыбкой говорить», а на самом деле для общества, читавшего эту басню, все это были «намеки тонкие на то, чего не ведают никто». Ермолов, обрисованный в главных чертах своего характера графом Толстым, так оставался верным этому абрису во всю остальную свою жизнь. Так, не довольствуясь кавказскою славою первого русского героя, он не пренебрегал приобретением большей популярности в Москве через панибратские общения и либеральные разговоры с молодыми людьми, которых смешил, называя покойного фельдмаршала Паскевича-Эриванского графом Иерихонским и критикуя перед ними во все стороны действия правитель-

ства. Все это, конечно, было известно и двору и правительству и в глазах того и другого создавало Ермолову положение, которым покойный генерал не мог быть доволен, — от него, что называется, сторонились, избегали его. Общество к нему благоволило, но иногда и из общества слышалось ему резкое слово. Так, рассказывали, что незадолго до своей недавней кончины, говоря о людях, известных у нас под названием нигилистов, Ермолов спросил своего собеседника: «И скажите, пожалуйста, откуда такая дрянь могла взяться на нашей земле?» — а собеседник в ответ рек ему «истину с улыбкой»:

— Одни вы, ваше превосходительство, гуляя по бульвару, сотни две, я думаю, посеяли.

— Это когда? — спросил удивленный и недовольный Ермолов.

— А вот когда фельдмаршала Иерихонского с братиею разбирали! — отвечал собеседник.

Ермолов надулся.

Другой деятель и «сподвижник», гр. Растопчин, тоже, как мы видели, отлился у графа Толстого живым и не умрет в этом образе до

века. Пишущий эти строки имеет в своем семействе несколько преданий и «старых памятей» о двенадцатом годе, которые весьма во многом совпадают с рассказами графа Толстого, особенно по отношению к оставлению Москвы и к графу Растопчину. Есть даже один, касающийся графа Растопчяна, анекдот, которого не хочется перемолчать, да и который притом же можно очень кстати рассказать в этом месте.

Дело касается описанной гр. Толстым сцены у моста, когда графом Растопчиным овладело какое-то непостижимое бешенство, и он, вырвав из рук казака нагайку, начал ею хлестать во все стороны по столпившемуся у моста народу.

Дед мой, служивший в то время в Москве, спасался со своею семьею бегством в Орловскую губернию. Они ехали в большой, тяжело навьюченной рессорной брике, которую едва тащила пара лошадей, неслыханно дорогою ценою нанятых у какого-то калужского мужика. Семейство деда было затерто у моста необозримою толпою, которая теснилась, жалась и торопилась переправиться через мост,

чтобы попасть на дорогу. Казаки и драгуны старались дать кое-какой порядок этой переправе и немилосердно рассыпали направо и налево щедрые колотушки нагайками и ножами сабель. Угрожаемый этими блюстителями порядка, народ на минуту стихал, но потом вдруг снова рвался, как попало, вперед на мост: одни прорывались и, получив несколько ударов по спине и по шее, уезжали, других заворачивали, отчего давка и суматоха увеличивались более. Тогда люди благоразумные решили не толкаться и ждать своей очереди по ряду, пока толпа хоть немножко разредеет. В числе этих благоразумнейших, добровольно становившихся в порядок, был и мой дед. Не видя никакой возможности переправиться через мост немедленно, он съехал с дороги к берегу и остановился у затона. Здесь было гораздо свободнее, и сместившиеся сюда беглецы, стоя спокойно в стороне, наблюдали терпеливо суетливую переправу. Несмотря на всю суету и безвременье, некоторые тут же начали подкрепляться водочкою, пирожками и другими захваченными с собою в дорогу запасами, а два купеческие семейства даже по-

ставили самовар и уселись у самой воды пить чай.

По случаю дед мой здесь столкнулся с знакомыми: это был пожилой регистратор одного из сенатских департаментов с второбрачною женою, молодою толстенкою веснотаю бабочкою, известною склонностию при всяком удобном случае венчать рогами чело своего пожилого супруга. У рогожаной кибитки этого семейства, как раз грядка к грядке, пристала телега, на которой на кучах всякого домашнего скарба сидели, пригорюнясь, старушка и длинный худой молодой человек с огненно-рыжими курчавыми волосами, курносый носом, карими глазами и рядом перламутровых белых зубов. Это был приказный из той регистратуры, которою правил муж слабенькой блондинки. В своем кружке рыжий приказный слыл за отчаянного и счастливого волокиту: он очаровывал приказничих своими светскими манерами и разными приятными талантами, умел смешно копировать обманываемых им мужей, пел и играл на щипок на гитаре. Спасаясь со своею матерью из Москвы в неведомую глубь России,

этот канцелярский ловелас двенадцатого года вез с собою и свою гитару, которая, как вещь бременная и хрупкая, была привязана веревочкою на самом верху воза. Пристав у затона, в ожидании пропуска на мост, приказный заметил с одной стороны своей телеги податливую жену регистратора, а с другой брику, в которой сидели моя, молодая в то время бабушка и ее две хорошенькие сестры-девушки, и почувствовал неотразимое желание обратиться на себя женское внимание и приволочнуться, сколько позволяли обстоятельства. Помещаясь высоко на возу, как собака на заборе, приказный отвязал свою гитару и, подыгрывая себе, запел:

*Барышни злодейки,  
С вами пропадешь,  
От вас, чародейки,  
Места не найдешь.*

Бабка моя и ее сестры несколько смешались от этого заигрывания и сидели, делая вид, что они не слышат ни песен, не замечают самого певца; но весноватая регистраторша так и выставлялась к нему всею своею полною и сочною фигурою. Мужа это приво-

дило в ярость: он требовал, чтобы жена не смотрела на соблазнителя, и грозил чем-то самому соблазнителю; но ни жена, ни приказный его не слушали, и один продолжал петь свои песни, а другая посылала ему ответные выстрелы скоромными глазами. В это время влетел сюда в середину этих спокойно ожидавших очереди людей граф Растопчин и, хлеща с азартом кого попало нагайкою, вытянул ею со всей силы ревнивого регистратора. Чиновник взвыл и, с умыслом ли или без умысла, с одного страха и желания подставить вместо своей спины чужую, отчаянно крикнул: «Ваше сиятельство! это вот он, он разбойник!» И регистратор указал на приказного, который, разиня от удивления рот, вскочил на своем возу на ноги и стоял, вытянувшись во весь рост, с гитарою в руке.

Граф Растопчин вскрикнул: «А!», и мгновенно бросился со своею нагайкою на указанного ему приказного. Приказный как мы сказали, стоял высоко, и потому граф, примеряясь достать его, с такою силою замахнул нагайку, что ее перержавевшее ушко, соединявшее плеть с рукояткою, разорвалось, и плеть,

высоко взвившись в воздух, исчезла, а в руке Растопчина осталось одно кнутовище. Сердитый граф пришел еще в бóльшую ярость от этого несчастья и ткнул приказного концом кнутовища в живот. Приказный был заведомо необыкновенно щекотлив, до того, что с ним делались судороги, если его кто-нибудь из товарищей хватал для смеха за колено. Когда граф ткнул его в живот, он вдруг побледнел, выронил из рук свою гитару и, падая сжатыми от судороги кулаками с воза, вскрикнул:

«Граф, я щекотлив!»

Растопчин страшно испугался. Он принял слова приказного и его прыжок совершенно в другом, несколько небезопасном для себя смысле. Отпрянув назад, граф бросился в коляску и, крикнув оттуда приказному: «Мерзавец!», покатыл и скрылся из вида.

Впоследствии, в течение моей жизни, мне довелось не раз слышать этот анекдот принашенным другому высокопоставленному лицу, которое имело привычку ругать площадными словами и дергать за пуговицы стоящих в строю офицеров, но, имея полнейшее

доверие к словам моего никогда не лгавшего деда, я имею слабость считать позднейший рассказ в этом роде вариацией на тему, действительно разыгранную графом Растопчиным и щекотливым приказным.

## XII. О НЕКОТОРЫХ КРИТИКАХ, НАПИСАННЫХ ПО ПОВОДУ «ВОЙНЫ И МИРА»

Вот и весь наш отчет о последнем из вышедших до сих пор томов наилучшего русского исторического романа.

Мы отоваривались в начале нашей статьи, что мы пишем не более как отчет, и просили не подозревать в нас желания написать критику по этому прекрасному и многозначащему сочинению.

Это не наше дело, не дело газеты.

Но тем не менее мы находим себя и в средствах и вправе заключить наш отчет несколькими небольшими замечаниями о рассмотренной нами книге, о свойствах таланта и направления ее автора и, кстати, о некоторых наиболее заметных критиках его последнего сочинения.

Во-первых, мы не можем не заметить и не пожалеть о том, что пятый том «Войны и мира» написан местами весьма небрежно. Есть

страницы, и их, к сожалению, не мало, где эта небрежность изложения достигает до того, что через нее самые мысли становятся неясными и изложение теряет много своей прелести и силы. Мы вовсе не претендуем на автора за своебытность его языка и некоторых его литературных приемов, но имеем полное право жалеть, что такое прекрасное произведение, как «Война и мир», в очень многих местах (особенно пятого тома), не свободно от таких стилистических недостатков, которые были бы довольно непростительны даже и в газете, где всякая почти работа делается на срок, а нередко и к спеху, чего с романистом, находящимся в положении уважаемого графа, конечно, быть не могло.

Но, указав на этот недостаток романа, мы считаем долгом добавить, что всеми почти усматриваемая в «Войне и мире» шероховатость слога и некоторая неточность выражений не могут отнимать у этого сочинения имени сочинения прекрасного, точно так же как горы и овраги земного шара не могут лишать этого шара права называться круглым. Существование гор и буераков мы отрицать

не можем, но шар тем не менее кругл.

Теперь, во-вторых, о самом авторе, о силе и духе самого творца этого произведения, составляющего гордость современной литературы.

Кроме ветреных и легкомысленных критиков, рассматривающих произведение графа Толстого лишь с одной стороны, именно с той стороны, которою «Война и мир» не подходит к бесплодному и в настоящее время уже беспочвенному направлению предвзятого отрицания, графу Толстому был сделан один забавный упрек и одно не менее забавное и неосновательное определение его значения в ряду современных романистов. Один философствующий критик упрекнул автора, что он «просмотрел народ и не дал ему принадлежащего значения в своем романе».

Говоря по истине, мы не знаем ничего смешнее и неуместнее этой забавной укоризны писателю, сделавшему более чем все для вознесения народного духа на ту высоту, на которую поставил его граф Толстой, указав ему оттуда господствовать над суетою и мелочью деяний отдельных лиц, удерживавших

за собою до сих пор всю славу великого дела. Вся несостоятельность этого простодушного укора столь очевидна, что его недостойно и опровергать.

Другой, также философствующий рецензент, классифицируя творческие силы автора и стараясь проникнуть во святая души его, нашел истинно замечательный способ записать графа Толстого в особую категорию реалистов, категорию, которая, впрочем, не имеет ничего общего с так называемыми на языке наших философских критиков «грубыми реалистами». Замечательный вывод, одновременно свидетельствующий и о верности собственных представлений критика, угнетаемой потребностью классификации, и о всяком отсутствии в нем столь необходимой для критического писателя чуткости!

Если уже есть неотразимая потребность ныне вновь перечислять графа Л. Н. Толстого в какую-нибудь категорию истов, то не позволительнее ли всего было бы отнести его совсем не к разряду каких бы то ни было реалистов (каким он никогда не был, ни в одной написанной им строке), а совсем к другой кате-

гории мыслителей, к другой плеяде писателей, понимающих земную жизнь не так, как может принять ее какой бы то ни было грубый или нежный реалист? Его одухотворенный князь Андрей в свои предсмертные минуты возносится совсем над земным человеком: любовь к страстно любимой женщине в нем не остается ни одной секунды на той степени, на какой мы ее видели, пока в князе говорил его перстный Адам. Но вот «взошло в дверь оно», и... любовь князя не падает и не увеличивается по отношению к любимому лицу, а она совсем становится иною любовью, какую не любят никакие реалисты.

Читая это превосходное место в романе графа Льва Толстого, невольно вспоминаешь другое место у другого графа Толстого (Алексея Константиновича), и тут совершенно неожиданно и вдруг два эти однофамильные и одномысленные писатели начинают пояснять нам друг друга.

Желая проникнуть в красноречивое молчание человека, умирающего с чувством сознания высших призваний смертного, мы можем читать строки Алексея Толстого и пони-

мать, что князь Андрей теперь в своей любви  
уж ощущал

*Не узкое то чувство,  
Которое, два сердца съединив,  
Стеною их от мира отделяет.*

Больной телом, но пробудившийся от «сна  
жизни», князь ощущал любовь, которая

*Его роднила со вселенной,  
Всех истин он источник видел в  
ней.  
Всех дел великих первую причину.  
Через ту любовь он  
смутно понимал  
Чудесный строй законов бытия,  
Явлений всех сокрытое начало.  
Он видел  
все ее лучи,*

раскинутые врозь по мирозданию, — лучи,  
которые он в себе готов «соединить».

*Сосредоточил бы их блеск блудя-  
щий  
И сжатым светом ярко б озарил  
Своей души неясные стремленья.  
Он весь уже  
одно звено той бесконечной цепи,*

*Которая, в связи со всей вселенной,  
Восходит вечно выше к божеству.*

.....

И таков автор «Войны и мира» везде, таков он во всех тех строках своего романа, которые более рельефно выдают его субъективные чувства и отношения к людям и природе. Вспомним размышления князя Андрея перед возрождающимся дубом и подержим в памяти прочитанную теперь кончину этого самого князя... и это называется реалист!! Почему, — если уже философским начетчикам, разбирающим художественные произведения, необходимо классифицировать авторов по отделам истов, — почему, говорим, они, мудря над зачислением автора «Войны и мира» в определенную группу мыслящих людей, не вспомнили о спиритуалистах, с которыми давно замечено столько родного и общего у графов Толстых (Льва и Алексея Константиновича). Мы говорим о спиритуалистах, сильных и ясных во всех своих разумениях дел жизни не одною мощию разума, но и постижением всего «раскинутого врозь по мирозданью» вла-

дычным духом, который, «в связи со всей все-  
ленной, восходит выше к божеству»...

Мы не имеем чести знать личные мнения автора «Войны и мира», но, знакомые со всеми высказанными им в печати чувствами, верованиями и надеждами, мы решаемся со спокойствием утверждать, что зачисление его по последней категории было бы гораздо ближе к истине, чем желание представить в нем некоторую квинтэссенцию реализма, хотя бы даже имеющего честь не возбуждать против себя и самой безвредной злобы философских начетчиков.

Теперь — третье и последнее замечание насчет критиков военных, занимающихся не авторскою личностью и красотой его произведения, а правдою его выводов и заключений о вопросах, касающихся отечественной войны. Со стороны этих специалистов сделаны графу Толстому наибольшие и наичувствительнейшие укоризны. Эти критики высказали то мнение, что граф Толстой отвергает всякое значение военных талантов и баталических гениев. Им, этим критикам, показалось оскорбительным, что граф Толстой боль-

ше верит «старым памятям», чем авторитетным, по мнению критиков, записям, и что он отверг будто бы всякое значение военных способностей Кутузова с Наполеоном и их сподвижников.[12]

Нам опять приходится поневоле удивляться этим роковым для критиков мнениям. Где они в новом сочинении графа Толстого нашли отрицание военных талантов и неуважение к способностям князя Кутузова и французского императора? Автор нигде решительно не высказался в своем сочинении против значения военного гения, но он везде поставил его в тесную зависимость от духа народа, с которым заодно или врозь действует гений... Что же тут невероятного или что странного и предосудительного и для правды дела и для патриотизма автора?

Не известно ли критикам, что у падавших народностей в самую крайнюю минуту их падения являлись очень замечательные военные таланты и... не могли сделать ничего капитального для спасения отчизны? Оставляя в стороне большие исторические примеры, которые должны быть на счету у всех начи-

нающих трактовать о делах подобного рода, вспомним одну столь популярную ныне Польшу, последний воинственный вождь которой, тоже популярный и сведущий в военном деле, Костюшко, бросил на землю меч свой и воскликнул: «Finis Poloniae!»[13] В этом восклицании способнейшего вождя народного ополчения поляки напрасно видят нечто легкомысленное. Костюшко видел, что в низком уровне духа страны было уже нечто невозвратно изрекшее его любимой родине «Finis Poloniae!» Столь велико и всеильно значение духа народа и столь зависимо от него значение вождя военных и всяких иных сил его! (Тем, кому это кажется темно и непонятно, рекомендуем новое сочинение Н. И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», там это рассказано и доказано с большим мастерством.) Никто не может с успехом предводительствовать тем, что само в себе заключает лишь одну слабость и все элементы падения. Костюшко, воскликнув свое роковое «Finis Poloniae!», собственно говоря, не сказал этим ничего такого, что в сотой доле равнялось бы изречению Монтеスキе, что «всякое прави-

тельство впору своему народу». Что такое в самом деле одна «закончившаяся» Польша в сравнении с судьбою наций, управляемых правительствами, от которых они страдают и которых должны стыдиться, сознавая в то же время, что эти правительства держатся в них единственно в силу возможности в них держаться? Падение одной Польши решительно ноль в сравнении с этим неотрицаемым и наипечальнейшим мировым фактом! Всякой дурно управляемой стране дурно от ее плохого правительства потому, что такое правительство ей впору — другими словами, что она не умеет создать необходимости уничтожения существующего дурного правления и установления лучшего. Дело столь ясно, что становится непостижимо, каким образом строгое, но правдивое осуждение духу народов, выраженное в Монтескье, считается правдивым и безобидным для всех без исключения народов, а болезненный крик Костюшки, не выразивший ничего иного, как тот же самый приговор по отношению к одной Польше, вменяется ему очень многими друзьями Польши в осуждение? Дух народа пал, и ника-

кой вождь ничего не делает, точно так же, как сильный и сознающий себя народный дух сам неведомыми путями изберет себе пригодного вождя, что и было в России с засыпавшим Кутузовым, которого кадетствующий граф Растопчин ставил наряду с сумасшедшими из желтого дома, а Ермолов дурачил, посылая ему вместо донесения лист белой бумаги. В чем тут отрицание военного гения, военных знаний и военных талантов — мы решительно не можем доискаться, и видим во всем рассматриваемом нами сочинении автора «Войны и мира» не более как довольно старую и весьма верную мысль, что военные вожди, как и мирные правительства, состоят в непосредственной зависимости от духа страны и вне пределов, открываемых им для эксплуатации этим духом, ничего совершить не могут. Иначе с верою в независимую силу личности можно дойти до того, до чего, по одесским рассказам, доходили в Крымскую войну, во время осады Одессы, тамошние евреи. В то время, как известно, на высоте еврейской цивилизации в России засверкал редактор еврейского журнала «Рассвет» госпо-

дин Рабинович. Это было время необыкновенно быстрых успехов. Маленькие люди возносились от земли в тумане всеобщего опьянения прогрессом, толклись в воздухе, как мошки, и тучами падали в родное болото. В Одессе не знали меры этой чехарде, пока, наконец, не дошли до геркулесовых столбов безумия, с которым я прокричали, через Листок прославленного Общества пароходства и торговли г. Новосильского, такое приветствие редактору этой конторской газеты:

*Да здравствует прогресс, сын века,  
И редактор «Листка» Громека!*

Рабинович получил таким же точно совершенно не зависящим от него образом неожиданную и огромную популярность в Одессе. Популярность эта была столь велика, что одесские евреи, как рассказывают, стали считать редактора своего «Рассвета» ответственным во всем худом и добром, что выпадало на долю их края, и при виде летевших над их городом неприятельских ядер и бомб, как и при объявлении потом рекрутских наборов, отча-

янно кричали: «О, вей, Рабинович! Ай, ой, ой, Рабинович! Рабинович! Рабинович!» — как будто бы и в самом деле г. Рабинович мог защитить их от неприятельских ядер и от наборов.

Идучи путем слепого преклонения перед независимостью значения отдельных личностей, не мудрено дойти до того же самого, до чего доходили южнорусские евреи со своим г. Рабиновичем; но это отнюдь не будет ни к чести, ни к славе разделяющих такое увлечение личностью, получившею в их глазах вовсе не принадлежащее ей значение.

Та крымская война, о которой мы здесь вспомнили, дает нам тысячу примеров, оправдывающих выводы графа Толстого и убеждающих нас, как мало зависят общие судьбы дела от единичной личности, в руки которой оно попадает по тому или другому случаю. Защита Севастополя и вообще вся последняя крымская война несомненно принадлежат к геройским подвигам русских, но вспомним только, в чьих руках не перебивало это великое дело и чему оно не подвергалось? Не касаясь того, чего в настоящее время

еще неудобно касаться, вспомним лишь то, что уже рискнула вскрыть наша печать: вспомним напечатанные в одном прекратившемся издании статьи «Изнанка Крымской войны», вспомним дело Затлера по продовольствию войск, отчеты профессора Гюббинета по врачебной части в армии, — вспомним тех, кто делался героями великой страды, которую несла вся Россия... вспомним сомнительного матроса Кошку, который, по отчетам газет, чуть не летал в вражий лагерь в шапке-невидимке на ковре-самолете; вспомним одного невинного офицера и «петербургских патриотов», куривших в честь этого юноши папиросы его имени в то время, как гангренозные раны солдат русской армии перевязывались соломой, а корпия, которую щипали на своих *soirées*[14] наши дамы, перепродавалась, через татар и евреев, в неприятельские госпитали... Вспомним все это — и замолчим, признавая несомненную пользу правдивых картин графа Толстого, или уже станем тоже, что ли, кричать что-нибудь вроде: «Ой, Рабинович, Рабинович!»

Нет, оставим всякую шутку и заключим

лучше наши последние заметки о «Войне и мире» выражением желания наибольшего доверия к автору со стороны публики и приложения возможно бóльших забот со стороны всех и каждого к воспитанию в себе и в ближнем того великого духа, которым крепка сила русской земли, независимо от всех погрешностей тех, которые ею в ту или другую минуту управляют и, как Растопчин, срывают подчас гневливость свою на беззащитных «маленьких шельмах», оставляя во всей неприкосновенности Обер-Шельму.

Но рассмотренное нами сочинение (написанное, по определению некоторых критиков, автором «суеверным и ребячливым фаталистом») имеет в наших глазах еще большее значение в приложении к решению многих практических вопросов, которые время от времени могут повторяться и даже несомненно повторяются со свойственною им роковою неотразимостью. Они где-то зарождаются, восстают и текут, влеча за колесами двигающей их колесницы своих Кутузовых и Болконских, Верещагиных и Растопчиных, Васек Денисовых и понизовых дам, не хотящих

«кланяться французу». Если зорче осмотримся и обсчитаем весь ворох своей коробки по-вернее, то увидим, что все эти бойцы и выжидатели, все эти верующие и неверные, одухотворяющиеся и лягушествующие, выскочки и хороняки — все они опять живы и с нами опять. Все это опять старые кости наших русских счет, на которых нам приходится без хитрых счислителей смекать наши капиталы и силы. Кости этих счет, может быть, и поизменились, — та подцвела, а та выцвела, но значение их на общей скале все то же — все они снова покорно ложатся на данный прут по десятку: стоящий шелиг смешается в счете с алтыном, и сложится снова из них богатство и слава народа. Верно разумевая их, можем считать на них просто и верно.

Книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разумевать бываемая и даже видеть в зеркале гадания грядущее.

*1869 год.*

# Примечания

Это та знаменитая Обер-Шальме, проделки которой были известны всей Москве и которую народ московский перекрестил в «Обер-Шельму». (прим. Лескова.).

[^^^]

На закуску (франц.).

[^^^]

Царей (франц.).

[^^^]

# 4

Моей милой, нежной, бедной матери  
(франц.).

[^^^]

# 5

Заведение, посвященное моей милой Матери  
(франц.).

[^^^]

# 6

Дом моей Матери (франц.).

[^^^]

Дикому патриотизму Растопчина (франц.).

[^^^]

Французы, как известно, очень строго судили заподозреваемых в поджигательстве и карали чрезвычайно сурово. Так это представляет и Толстой, один из героев которого, Пьер Безухий, чуть не был расстрелян по одному ни на чем почти не основанному подозрению в поджогах (прим. Лескова).

[^^^]

Ложный шаг (франц.).

[^^^]

На деле (лат.).

[^^^]

Да будет прощено нам, что мы считаем позволительным сделать здесь выноску для того, чтобы сказать, что это взгляд не совсем новый. Может быть, кому-нибудь неизвестно, что проводить и оправдывать этот взгляд пробовали и другие писатели с меньшим талантом (прим. Лескова).

[^^^]

Странная претензия за внимание к старым памятям! Что можно было бы сделать без них для того, чтобы воспроизвести очерки лиц, представленных сухими и подцензурными историками и реляторами, вполне зависимыми от тех, о ком они доносили и писали? Можно ли, например, по печатным источникам нарисовать сколько-нибудь похожий портрет Аракчеева или фельдмаршала графа Каменского, если не черпнуть живой струи из новгородских памятей о первом, который желал доказать императору Александру Павловичу, что военные поселения благоденствуют, и, показывая государю избы поселенцев, пересылал из одной избы в другую одного и того же жареного гуся, и из орловских преданий о втором, который то потешал Орел крепостным театром, то травил у себя на дворе духовенство, осмелившееся прийти к нему с христианскою требою? Все эти герои жили и свирепствовали в век цензурного гнета и литературного безмолвия, и про них не напечатано почти ничего того, что стоило бы напе-

чатать, дабы потомство могло себе представить их такими, какими они действительно были. Семейные предания и старые памяти тут единственный материал (прим. Лескова).

[^^^]

Конец Польше! (лат.)

[^^^]

Вечерах (франц.).

[^^^]